

Заслуги отечественного литературоведения в изучении революционных демократов столь же неоспоримы, как очевидна и необходимость постоянного совершенствования путей и способов этого изучения. Истинные завоевания филологической науки в исследовании наследия «шестидесятников», как и классического наследия в целом, — на пути дальнейшего освоения методологических уроков Ленина.

Б. Т. УДОДОВ

СПОРЫ ОБ ОНЕГИНЕ И РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Тип «лишнего человека» — один из своеобразнейших и значительнейших в русской литературе. Тем не менее до сих пор нет единого мнения о его историко-литературном, художественно-эстетическом содержании и значении. В полной мере это относится и к родоначальнику «лишних людей» — Онегину. Споры о нем начались еще при жизни Пушкина и продолжают по сию пору. При этом не может не поражать амплитуда колебаний в оценках Онегина как характера и типа. Это и лучший представитель русского дворянского общества 20—30-х годов — и пустой фат, светское ничтожество; пародия на байронического героя — и самобытный русский национальный характер; классически выраженный тип «лишнего человека» — и в то же время оппозиционер, больше того — почти декабрист и т. д.

Прослеживая историю этих мнений, нельзя не заметить, что в основе их — два различных подхода. Первый теперь бы назвали конкретно-историческим, второй — типологическим. Наиболее же плодотворными оказывались суждения, основанные на более или менее органическом сочетании обоих подходов.

О единстве конкретно-исторического и типологического изучения романа Пушкина и его центрального героя можно с полным основанием говорить применительно к статьям Белинского. Во многом объединяя образы Онегина, Печорина, Бельтова как «героев времени», критик внимательнейшим образом исследовал их конкретно-историческое, социально-психологическое, художественно-эстетическое своеобразие. Белинский нигде не употребляет определения «лишний человек», которое,

как известно, родилось позже. Тем не менее его определения не противоречат существу этого термина.

Приступая к рассмотрению романа Пушкина, критик заявлял: «Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма *историческая* <...>»¹. Историзм Белинского сказывался и в его анализе образов главных героев, он чутко улавливал динамику их характеров.

Белинский далек от мысли, что человек рождается с готовым, предопределенным природою характером. Но он и не разделяет убеждения, по которому человек целиком формируется обстоятельствами жизни. Критик исходит из диалектически понимаемого взаимоотношения «натуры» человека и обстоятельств: «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (VII, 485). Вот почему так пристально всматривается он в сложный процесс «развития» и «образования» Онегина как человека. Критик уделяет особое внимание кризисным, переломным моментам в жизни героя Пушкина, которые каждый раз как бы «разбивают» сложившееся перед тем мнение о его характере. Вот один из таких «предварительных итогов»: «В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив жизни, так изнемогнуть, устать, ничего не сделав, дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения: это смерть!» (VII, 463). Однако это и начало новой жизни: «Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его духа» (там же).

Анализируя драматический финал романа, Белинский подчеркивает его «открытость», равно как и «незавершенность» характера героя (VII, 469). Этой принципиальной «незавершенности» Онегина последующая критика, как правило, не придавала значения. А между тем Белинский уделил немало места рассмотрению динамики и другого центрального персонажа, казалось бы, куда более устойчивого и цельного в своей человеческой характерности, — Татьяны. Вначале она, по мнению критика, предстает в романе как «нравственный эм-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., 1955, т. VII, с. 432. В дальнейшем при цитировании этого издания том (указанный римской цифрой) и страницы приводятся в тексте. В цитатах курсив всюду принадлежит цитируемым авторам, разрядка наша.

брион» (VII, 499), «ум ее спал» (VII, 488), и в первую встречу с Онегиным все в нем — «неразрешимая тайна для ее неразвитого ума» (VII, 490). Но вот, наконец, «ум ее проснулся» (VII, 497) и т. д. И эта сторона образа героини впоследствии не привлекала должного внимания критиков и литературоведов, что не могло не сказаться на характере толкований романа в целом.

Главное для Белинского в героях Пушкина — отражение в них пробуждения и формирования личного и общественного самосознания, потому и роман в целом, по его мнению, явился «актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!» (VII, 503).

Печорин для критика — дальнейшее развитие и углубление временем и обстоятельствами типа, родственного онегинскому. Для обоих Белинский не видел возможности активного общественного действия (VII, 469). Несколько иначе судил Белинский о Бельтове, появившемся в более поздний исторический период: «Бельтов знал многое... но совершенно не знал той общественной среды, в которой одной мог бы действовать с пользою <...>» (X, 321).

Важной вехой в истории осмысления «Евгения Онегина» явились высказывания о нем представителей революционно-демократической критики 50—60-х годов. Чернышевский и Добролюбов подходили к оценке «лишних людей», и в частности Онегина, более критично, чем Белинский. Тем важнее подчеркнуть, что поначалу и они склонны были рассматривать образы «лишних людей» как отражение различных исторических периодов, хотя и тесно взаимосвязанных. Поэтому они акцентировали не только общность, но и своеобразие таких типов, как Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин.

Так, в начале 1857 г. Чернышевский, полемизируя с С. С. Дудышкиным, усматривавшим основное сходство «лишних людей» в том, что они не трудились и тем самым «не гармонировали» с окружающей их обстановкой, утверждал: «Это люди различных эпох, различных натур, — люди, составляющие совершенный контраст один другому. Скорее вы найдете сходство между Дон-Кихотом и Манфредом, между Фаустом и Дон-Жуаном, нежели между Рудиным и Печориным или Онегиным, который еще дальше от Рудина»². А еще раньше,

² Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т. М., 1948, т. IV, с. 699. В дальнейшем цитаты по этому изданию с указанием тома (римской цифрой) и страниц даются в тексте.

в 1856 году, Чернышевский прямо говорил о преемственности современных героев, вышедших на арену общественной борьбы, с героями предшествующих эпох, указывая, что «если они могут теперь сделать шаг вперед, то благодаря тому только, что дорога проложена и очищена для них борьбою их предшественников, и больше, нежели кто-нибудь, почтут деятельность своих учителей. Онегин сменился Печориним, Печорин — Бельтовым и Рудиним. Мы слышали от самого Рудина, что время его прошло; но '<...>' мы еще не знаем, скоро ли мы дождемся ему преемника» (III, 567).

Однако с приближением революционной ситуации 1859—1861 годов, с обострением столкновений между либералами и революционерами-демократами последние, как известно, изменили свое отношение к «лишним людям», порой отождествляя их с современными представителями либерального дворянства, рассматривая неспособность к решительной общественной борьбе как неотъемлемую черту их социальной принадлежности. В 1858 году в статье «Русский человек на rendez-vous», Чернышевский, говоря о герое тургеневской повести «Ася», объединяет его со всеми «лишними людьми», как «родственниками» героя (V, 164). Несколько иначе, чем Белинский, Чернышевский подходит теперь к рассмотрению взаимосвязи характеров и обстоятельств: «Для нас теперь ясно, — читаем мы в той же статье, — что все зависит от общественных привычек и от обстоятельств, то есть в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что общественные привычки произошли в свою очередь тоже из обстоятельств» (V, 165).

Обобщенно-типологический подход к «лишним людям» как представителям либерально-дворянской оппозиционности обуславливал ярко выраженный социологический характер их оценок. В статье «Что такое обломовщина?» (1859) Добролюбов писал: «В самом деле — раскройте, например, «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват?», «Рудина», или «Лишнего человека», или «Гамлета Шигровского уезда», — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова»³. Показательно, что Добролюбов рассматривал Онегина, Печорина, Рудина не в «контексте» их конкретного времени, а в некоем длящемся историческом

³ Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. М.—Л., 1962, т. 4, с. 321. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома (цифра выделена курсивом) и страницы.

«сегодня». Не отрицая, что «при других условиях, в другом обществе» многие из них «делали бы великие подвиги», критик замечает: «Но <...> теперь-то у них всех одна общая черта — бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего <...>» (4, 328—329). Подобный суммарно-типологический подход заставлял сглаживать конкретные социально-исторические и нравственно-психологические различия рассматриваемых типических характеров, особенно черты, не укладывавшиеся в рамки их сословно-социальной принадлежности, и, напротив, акцентировать те из них, которые были наиболее характерны для современного социального типа дворянского либерала. Это приводило подчас к некоторым историческим «смещениям» в конкретных характеристиках «лишних людей» 20—40-х годов.

В канун революционной ситуации в России Чернышевскому и Добролюбову было важно всеми средствами (а литература была главным из них в ту пору) провести четкую грань между «новыми людьми», как представителями решительного революционного действия, и современными дворянами-либералами, в своих претензиях на гегемонию в общественном движении конца 50-х — начала 60-х годов опиравшихся по-прежнему на идеи 20—40-х годов, во многом их извращая. Отсюда в революционно-демократической критике полемически заостренная переоценка «лишних людей» николаевской эпохи, не совсем историческое «подверстывание» к современным «лишним людям» и «обломовцам».

И совсем внеисторичным был подход к «Евгению Онегину» у Писарева в статье «Пушкин и Белинский» (1865). Онегин расценивался критиком как «человек безнадежно пустой и совершенно ничтожный»⁴. Конечно, оценивая высказывания Писарева, тоже необходимо учитывать ожесточенную полемику 50—60-х годов вокруг Пушкина, которого сторонники «искусства для искусства» старались представить своим поэтическим знаменем и выразителем. Но Писарев статью, специально посвященную «Онегину», писал не в канун революционной ситуации, как было у его ближайших предшественников, а после нее. И в истолковании романа Пушкина Писарев расходился с Белинским не в частности, как полагал он, но по существу. Так, в противоположность Белинскому,

⁴ Писарев Д. И. Соч. в 4-х т. М., 1956, т. 3, с. 314. В дальнейшем это издание цитируется с указанием тома (цифра выделена курсивом) и страницы в тексте.

он утверждал, что Онегин принадлежит к числу «вечных и безнадежных эмбрионов» (З, 313), что это «тип бесплодный, не способный ни к развитию, ни к перерождению» (З, 337).

Особо следует сказать о позиции Герцена, выделив две стороны вопроса: 1) об отношении Герцена к либерально-дворянской интеллигенции конца 50-х—начала 60-х годов, которую он какое-то время продолжал рассматривать как передовую общественную силу в борьбе с самодержавием и крепостничеством; и 2) об отношении Герцена к передовому идейному наследию и образам «лишних людей» 20—40-х годов. Как показало время, в споре с Герценом о роли и значении дворянских либеральных деятелей в период революционной ситуации Чернышевский и Добролюбов оказались правы. Отрешившись от своих временных либеральных иллюзий, Герцен все более прочно становится на революционно-демократические позиции.

Герценовская же типология «лишних людей» обладала тем преимуществом, что основывалась на строгой историчности в рассмотрении и оценках входящих в этот ряд типов. Герцен разграничивал прежде всего «два разряда лишних людей, между которыми сама природа воздвигла обломовский хребет, а генеральное межевание истории вырыло пограничную яму... в которой схоронен Николай...»⁵. Впервые о существовании этих «разрядов» Герцен сказал в статье 1859 года «Very dangerous!!!», а затем развил свои мысли в статье 1860 года «Лишние люди и желчевики», называя «действительными» только «лишних людей» николаевской эпохи, и отказывая в этом «почетном», по его словам, звании «нервнорасслабленным» юношам 50—60-х годов, справедливо видя в них людей, «теряющихся перед упругостью практической работы» в обстановке наступившего, наконец, общественного подъема (XIV, 317). В отношении к этому разряду «вольнопределяющихся в лишние люди» у Герцена не было никаких расхождений с Чернышевским и Добролюбовым. Но Герцен настаивал на исторически дифференцированном подходе к типу «лишних людей» в целом: «Лишние люди были тогда столь же *необходимыми*, как *необходимо* теперь, чтоб их не было» (XIV, 317).

Немало у Герцена и других ценнейших наблюдений над природой, сущностью и значением «лишних людей», в частно-

⁵ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1958, т. XIV, с. 317. В дальнейшем при цитировании этого издания том (римской цифрой) и страница указываются в тексте.

сти и над образом Онегина. Герцен особенно настойчиво проводил мысль о национальной самобытности этого характера (VII, 203—204 и др.). Перекликается Герцен с Белинским и в утверждении исторической невозможности для Онегинных и Печоринных активной общественной деятельности, как и во многих других положениях, о чем несколько ниже. Герценовская концепция русского исторического и художественного типа «лишнего человека» заслуживает самого тщательного изучения.

Осмысление романа Пушкина в советском пушкиноведении прошло через все этапы, характерные для становления советской науки о литературе. В 20—30-е годы распространенными «издержками» становления марксистской литературоведческой методологии были вульгарно-социологические тенденции. Коснулись они и истолкования центрального произведения Пушкина. Нередко эти тенденции эклектически объединялись с другими, противоположными. Так, в статье И. Виноградова «Путь Пушкина к реализму» трактовка образов Онегина и Татьяны сочетала элементы вульгарного социологизма с отзвуками идей знаменитой речи Достоевского о Пушкине. По мнению исследователя, Пушкин «капитулирует перед феодально-крепостнической государственностью и выдвигает «почвенного» героя, скромно делающего свое дело, верного государственному и моральному «долгу» (Татьяна, Гринев)». Онегин же рассматривается как воплощение чуждого русской «почве» влияния Запада: «Противопоставление «русской души» и «чужеземного идеологизма» впервые отчетливо дано в образах Татьяны и Онегина»⁶.

Немаловажное значение для углубленного изучения «Евгения Онегина» имело обращение ученых к исследованию истории его создания, сохранившихся и вновь найденных материалов тех глав, которые не вошли в окончательный текст: VIII («Путешествие Онегина») и X («декабристской»). В этом плане представляла интерес работа Б. В. Томашевского о X главе⁷. Показательна публикация П. А. Поповым письма П. Катенина к П. В. Анненкову, в котором сообщались важные сведения о содержании VIII главы, на основании ко-

⁶ Виноградов И. Путь Пушкина к реализму.— В кн.: Литературное наследство, т. 16—18. М., 1934, с. 78, 88.

⁷ См.: Томашевский Б. Десятая глава «Евгения Онегина».— Литературное наследство, т. 16—18, с. 379—420.

торых П. А. Попов делал весьма обоснованные выводы о возможной роли этой главы в духовной эволюции Онегина⁸.

Надо отметить, что идея Белинского об эволюции Онегина, при всех существенных расхождениях в ее истолковании, становится постепенно господствующей. Так, В. Я. Кирпотин в работе 1936 года, говоря о финале пушкинского романа, даже и не ставил вопроса о каком-либо изменении Онегина: и в последней, VIII главе герой «черств, эгоистичен», «заражен светскими предрассудками до мозга костей»⁹. Но в то же примерно время Н. Л. Бродский развивал противоположную мысль о том, что «в основе последней главы лежала идея возрождения Онегина», что он «через тяжкий опыт страсти к Татьяне, отринутый ею, пошел к декабристам»¹⁰.

Однако наиболее усиленно в интересующем нас плане роман Пушкина стал изучаться, начиная со второй половины 50-х годов. Одна за другой появляются книги и статьи, специально посвященные «Евгению Онегину»: Д. Д. Благого, Г. А. Гуковского, С. М. Бонди, Б. С. Мейлаха, Г. П. Макогоненко, Н. Л. Бродского, И. М. Семенко и других литературоведов. Одним из первых предпринял попытку детального рассмотрения образа Онегина в его эволюции Г. А. Гуковский. По его концепции, в процессе своего развития Онегин из «лишнего человека» превращается в декабриста или по крайней мере в тип человека, близкого к декабризму¹¹. Этот конечный вывод вызвал особенно много споров. Вместе с тем концепция Гуковского послужила толчком к дальнейшим размышлениям о социально-психологической и исторической природе характера Онегина. Один из первых рецензентов книги — Г. П. Макогоненко — особо подчеркивал, что Гуковский «подошел к очень важной и, в сущности, решающей проблеме — он увидел *развитие, движение, эволюцию* характера Онегина»¹². Поддерживая точку зрения Гуковского в целом, Макогоненко расходился с ним во взгляде на образ Татьяны: первый полагал, что характер Татьяны внутренне статичен,

⁸ См.: Попов П. А. Новые материалы о жизни и творчестве А. С. Пушкина.— Литературный критик, 1940, № 7—8, с. 230—245.

⁹ Кирпотин В. Наследие Пушкина и коммунизм. М., 1936, с. 51.

¹⁰ Бродский Н. Л. А. С. Пушкин. Биография. М., 1937, с. 666, 667.

¹¹ См.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 134, 260, 274, 275, 277 и др. В дальнейшем при цитировании этой книги страницы упоминаются в тексте.

¹² Макогоненко Г. П. Исследование о реализме Пушкина.— Вопросы литературы, 1958, № 8, с. 236—237.

второй — что Татьяна тоже переживает эволюцию, но «отрицательную»: из глубоко чувствующей, «естественной» натуры она превращается в чопорную княгиню, не способную понять нового Онегина¹³. Мысль об эволюции Татьяны, а не только Онегина, как мы помним, содержалась уже в концепции Белинского и заслуживает самого пристального внимания. Однако трактовка Макогоненко по самой сути весьма спорна. Недаром ученый внес в нее впоследствии существенные коррективы, как и в представление об Онегине-декабристе¹⁴.

На наш взгляд, в работе Гуковского, стимулировавшей современную исследовательскую мысль, немало уязвимых моментов в самой сердцевине его концепции — в представлении о структуре реалистического образа-характера. Для ученого в Онегине первых глав «различимы довольно явственно два вида признаков: одни — природные, индивидуальные и от воспитания не зависящие (Онегин — умен, Онегин — значительный, яркий человек); другие — социальные, определенные вне героя лежащими причинами <...> Эти признаки, обусловленные воспитанием и средой, и есть типическое содержание образа Онегина» (с. 169). Социально-типическое начало, подавляя в Онегине его природную личность, и превращает его в начале романа в «лишнего человека» (там же).

Эта концепция личности, откровенно сближающаяся с руссоистской, определяется Гуковским как основа реалистического метода изображения человека в творчестве не только Пушкина, но и большинства русских писателей XIX века. По этой концепции истинно человеческое оказывается началом сугубо индивидуальным, внесоциальным, природным, не зависящим в своем, так сказать, готовом качестве ни от среды, ни от воспитания, которые могут в лучшем случае сохранить эту целостную первозданность в ее незамутненной чистоте или в худшем и наиболее частом варианте — разрушить ее. В «лишних людях» она разрушена, и на этой основе Гуковский и сближает типологически Онегина начальных глав романа со всеми другими «лишними людьми», по-добролюбовски, но на другой основе, подводя их к Обломову (с. 170). Комментируя исход первой встречи Онегина с Татьяной, исследователь замечает: «Испытание любовью — это разоблачение Онегина, как впоследствии Рудина или героя «Аси» <...>. Как при-

¹³ Там же, с. 239.

¹⁴ См.: Макогоненко Г. Роман Пушкина «Евгений Онегин». М., 1963.

родная личность — Онегин полюбил было Татьяну. Как тип — он не мог полюбить <...>» (с. 198). Обоснованно ли приписывать Пушкину концепцию «природной личности» и делать ее основой реализма?

Развиваемая Гуковским концепция личности в романе Пушкина накладывает свою печать и на истолкование существа онегинской эволюции. В итоге ее Онегин будто бы становится таким, каким он был изначально от природы. Еще в первую встречу с Татьяной, когда Онегин чуть было не влюбился в нее, «на мгновение нам приоткрылся другой Онегин, подавленный средой, сгоревший, но где-то таящийся под пеплом» (с. 199). Накануне дуэли «в Онегине борется *человеческое с типическим*, прирожденные черты человека — с искусственными, привитыми ему чертами светского общества» (с. 247). И, наконец, «в восьмой главе <...> Онегин освобождается от гнета светской среды, в нем воскресает подлинно человеческое» (с. 259). В итоге выходит, что Онегин в процессе своей эволюции не развивается, он лишь сбрасывает с себя шелуху тлетворного светского влияния, являя свою первозданную сущность человека, готового по своим «природным», индивидуальным качествам выйти на Сенатскую площадь... Очевидно, безупречная логика исследовательской мысли в данном случае расходится с художественной логикой романа Пушкина, как и вообще с логикой реалистического отображения в человеке природного и социального, неповторимо личностного и типического, исторического и общечеловеческого.

Важно, однако, что идея Белинского об эволюции героев Пушкина получила вновь права гражданства, хотя единства здесь мало. Одни, как Гуковский и Макогоненко, утверждают радикальный характер эволюции Онегина, закончившейся полным «возрождением» героя, другие считают ее оборванной где-то на половине, если не в самом начале пути.

Б. Бурсов весьма резко выступил против тенденций Гуковского и Макогоненко к исключению Онегина из категории «лишних людей» и помещения его «где-то посередине — между «лишним человеком» и «декабристом». Признавая, что Онегин «в конце романа <...> не совсем тот, каким был в его начале», Бурсов тут же утверждает, что «эти изменения не были такими кардинальными» и что Татьяна остается «намного выше Онегина, а потому наделена правом судить о нем и даже судить его <...>». Превосходство Татьяны представляется Бурсовым не как результат ее духовного роста, а как следствие ее своеобразной законсервированной неизменности, по-

сколько «душа ее остается на той высоте, на которую <...> Онегин подняться не может», «она предпочитает оставить нетронутой свою душевную и духовную энергию <...>»¹⁵. Здесь почти та же идея «первозданности» личности, которую развивал и Гуковский. Напротив Бурсов считал, что, вопреки мнению Г. Макогоненко, никакой особой эпохи «лишних людей» в истории не было...¹⁶. Герцен, на которого он ссылается, полагал, что такая эпоха была.

В 1961 году в «Вопросах литературы» был напечатан ответ Макогоненко Бурсову: «Спорные вопросы есть! Их надо обсуждать!»¹⁷. Началась дискуссия, которая продолжалась в ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР¹⁸. В ней приняли участие видные литературоведы: Ю. Оксман, У. Фохт, Д. Благой, А. Слонимский и другие, а также Г. Макогоненко и Б. Бурсов. В целом ее участники выступили против подмены конкретного анализа основного текста романа материалами его творческой истории. И хотя по многим существенным вопросам расхождения остались, редакция «Вопросов литературы», подводя итоги дискуссии, констатировала «значительность поставленных вопросов», выражая надежду, что «состоявшийся <...> научный разговор <...> будет способствовать решению важных задач, стоящих перед исследователями как пушкинского романа, так и общей проблемы генезиса «лишних людей» в русской литературе»¹⁹.

Незадолго до дискуссии была опубликована статья, специально посвященная проблеме эволюции Онегина. Ее автор И. М. Семенко, учитывая материалы развернувшейся полемики, стремилась, видимо, избежать односторонности, неизбежно допускавшейся спорящими сторонами. Она справедливо замечает, что в спорах об эволюции Онегина нередко упускаются из виду как эволюция самого автора в процессе создания романа, так и движение истории, отразившиеся в образе главного героя. Семенко писала: «Евгений Онегин» — не историческая хроника; в нем речь идет не об отрезке времени в шесть с половиной лет (1819—1825), а действительно о судьбе поколения, о ее «концах и началах» <...> Образ героя — широкая рама

¹⁵ Бурсов Б. Лишние слова о «лишних людях». — Вопросы литературы, 1960, № 4, с. 108, 115—117.

¹⁶ См.: Там же, с. 107.

¹⁷ Вопросы литературы, 1961, № 1, с. 108—117.

¹⁸ См.: К спорам о «Евгении Онегине». — Вопросы литературы, 1961, № 1, с. 118—132.

¹⁹ Там же, с. 132.

<...>, в нем по-своему отразились различные этапы развития русского общества». Поэтому, по мнению Семенко, споры о том, декабрист или не декабрист Онегин, по сути «уводят в сторону от главного», то есть от подлинной многосложности Онегина как художественного типа²⁰.

Подобные неординарные наблюдения и выводы в статье не редкость. Но порой их диалектическая гибкость и широта начинает подменяться эклектическим объединением разнородных начал, а то и метафизическим их противопоставлением, вроде того, что пушкинский герой — более тип, чем характер, и поэтому в романе главное — «не психологическое развитие характера», а «показанное через героя движение истории»²¹. На самом же деле для Пушкина важно и то, и другое в их взаимосвязи, о чем свидетельствуют конкретные наблюдения и автора статьи. Складывается впечатление, что «возрождение» героя мыслится исследовательницей только как идентификация героя с автором. Сомнительна и «диалектика характера» Онегина в последней главе романа в интерпретации Семенко. «Через Онегина показано такое сложное и своеобразное явление, как русский байронизм с его подлинной трагичностью и вместе с тем элементом моды, кокетства. В нем представлен и страдающий от неустройства мира дворянский интеллигент, высокий носитель общественного сознания, и пасмурный «Москвич в Гарольдовом плаще», и кокетливый «модный тиран» и даже декабрист <...>. Образ Онегина синтетичен: в нем одном собраны самые разные пласты образованного дворянства преддекабрьской поры, разные варианты блестящей дворянской культуры первой половины 20-х годов»²². Словом, все есть в этом «синтезе», нет только живого характера. Тем не менее статья Семенко и сейчас выделяется обстоятельностью аргументации и объективностью.

В работах последующих лет несколько сгладил «острые углы» своей концепции Г. Макогоненко. И хотя разногласия остаются, и очень существенные, можно, казалось бы, заметить, что Онегин стал нам ближе, понятнее, с «нигилистической» и упрощенческой недооценкой его покончено навсегда... Увы, это не так. В 1975 году с «Заметками о Пушкине» выступил известный поэт Е. Винокуров. В главе «Дон Кихот и

²⁰ Семенко И. Эволюция Онегина (к спорам о пушкинском романе). — Русская литература, 1960, № 2, с. 111, 113, 118.

²¹ Там же, с. 112, 113.

²² Там же, с. 128.

Татьяна», очевидно, была сделана попытка «современного прочтения» Пушкина. Е. Винокуров развивает смелую мысль о внутренней близости этих образов: «Дон Кихот и Татьяна — оба во власти своей высокой Иллюзии: один *добра*, другая — *любови*»²³. Но еще удивительнее прочтение образа Онегина. Поэт продолжает: «У обоих *идеал*: один принимает мельницы за великанов, другая — светское ничтожество за Идеал»²⁴. Онегин — «светское ничтожество»! Нет, спор о пушкинском герое не окончен... И важно, чтобы в пылу полемики не забывалась (за логическими построениями) живая плоть романа.

Давно замечено, что композиционно-сюжетное строение «Евгения Онегина» — образец архитектурного искусства Пушкина. И это искусство — средство раскрытия сокровенного смысла образов главных героев и романа в целом. Своеобразная зеркально-перевернутая симметричность сюжета, переключка начала и конца, по мнению некоторых исследователей, подчеркивает движение по кругу, внутреннюю статичность героя при внешней динамике его состояний. Думается, здесь необходимо существенное уточнение: движение сюжета и характеров идет не по кругу, а по спирали; оно поднимает героев на качественно новый уровень их нравственно-духовного развития.

Обычно начало эволюции Онегина относят если не к VIII, последней, то к VI главе. На самом деле об эволюции героя речь идет на протяжении всего романа. Уже в I главе Пушкин отмечает коренные перемены в своем герое в результате его столкновений с жизнью. Юность Онегина, прекрасная «пора надежд», совпала у него с началом светской жизни, которая обрушилась на молодого человека соблазнами, блеском и мишурой, щедро предлагала множество апробированных и вполне «престижных» ролей. Эти роли легко чередовались и сменялись, создавая иллюзию разнообразия и полноты жизни. Так прошло восемь лет блестящей, но чисто внешней жизни с театрализованно-маскарадной бутафорией во всем — в костюмах, чувствах, отношениях. И тут наступает первый перелом в жизни Онегина. Пресыщение ведет к раздумьям и сомнениям, к печальному прозрению: «Но был ли счастлив мой Евгений, Свободный, в цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений?.. Нет: рано чувства в

²³ Винокуров Е. Заметки о Пушкине.— Вопросы литературы, 1975, № 1, с. 230

²⁴ Там же. .

нем остыли; Ему наскучил света шум»²⁵. О том, что это не «усталость», а глубокий душевный кризис, свидетельствуют многозначительные слова: «Он застрелиться, слава богу, Попробовать не захотел; Но к жизни вовсе охладел» (V, 26).

Онегин пытается выйти из кризиса, ищет жизни осмысленной, ролей, более достойных человека. «Отступник бурных наслаждений» хотел было «читать», «писать» — «но труд упорный ему был тошен» (V, 22), слишком мало он был к нему приготовлен. Но здесь надо отметить еще одну крупную веху в жизни Онегина — его знакомство с поэтом. Автор подробно, в пяти строфах, рассказывает об общении со своим героем, о длительных беседах, о совместных планах, в которых не последнее место занимали мечты вырваться «на свободу» из «сумрачной России». Конечно, не следует переоценивать степень этой близости и сходства. Сам поэт не упускает случая заметить «разность» между Онегиным и собой; нельзя не учитывать иронического тона некоторых характеристик. Однако неправомерно и противопоставление, ибо как раз известная внутренняя «родственность» и заставляет Пушкина заранее обезопасить себя от приговора «насмешливого читателя», будто бы он «намарал» в романе «свой портрет». Нужно иметь в виду многоплановый, неоднозначный характер иронии Пушкина, что вообще характерно для его поэтики реализма. Вспомним, что элементы иронии присутствуют даже в описаниях юной Татьяны.

Жизнь в деревне поначалу представилась Онегину как совершенно новый этап в его жизни, он был «очень рад, что прежний путь Переменил <...>» (V, 32). «Полного возрождения» не получилось, но нет оснований смотреть на деятельность Онегина в деревне как на прихоть чудака, заменяющего тяжелую барщину легким оброком, чтоб «только время проводить». Авторская ирония направлена здесь не на Онегина, а на его окружение, единодушно решившее, что он «опаснейший чудака». Нельзя забывать: Пушкин стоял перед необходимостью, из цензурных соображений, подать небезобидную по тем временам деятельность Онегина как нечто незначительное. Поэтому, рисуя жизнь Евгения в деревне, он пишет о настигшей его и здесь скуке, хандре, а затем лишь в начале II главы, продолжая описание, говорит как бы вскользь о том, что

²⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. М.—Л., 1949, т. V, с. 25—26. В дальнейшем том (указанный римской цифрой) и страница этого издания приводятся в тексте.

«сперва задумал» его герой «порядок новый учредить <...>» (V, 37). Существенно, что Онегин теперь уже не бездумно принимает освященные веками «удобные» и «привычные» жизненные амплуа, как было с ним еще давно, а ищет новые для себя социальные роли. Чтобы сделать выбор и разойтись решительно с окружающей его и по-своему «милой» патриархально-дворянской «старинной», ему не потребовалось теперь восьми лет, потраченных на выяснение его «несовместимости» со светом. Так из Онегина начинает формироваться «странный человек», все более сознательно «выламывающийся» из привычного уклада жизни окружающей среды, общества в целом, ибо он из тех, кто не только «жил», но и «мыслил» (V, 24) — деталь немаловажная для характеристики индивидуальности. Онегин по-прежнему неудовлетворен и своим образом жизни, и собой, в чем также заключается один из источников его внутреннего развития. Дружба с Ленским, как незадолго перед этим с поэтом, — заметная ступень в этом развитии. Несмотря на все несходство, между Онегиным и Ленским еще больше внутреннего родства. Ленский — тоже разновидность «странного человека». Оба героя как бы взаимодополняли и обогащали друг друга.

Встреча с Татьяной пробудила в Онегине многое. Но слишком тяжел в его душе груз впечатлений от «науки страсти нежной» и слишком наивно-романтична в своей влюбленности, как и во всем своем жизненном опыте, Татьяна. Онегин, по его позднему признанию, «привычке милой не дал ходу» (V, 180), проявив не в первый раз, по свидетельству поэта, «души прямое благородство» (V, 83). Здесь вряд ли прав Г. Макогоненко, утверждающий, что Онегин «оказался нравственно глухим и слепым»²⁶.

Один из поворотных моментов в развитии самосознания Онегина — трагическое убийство Ленского. Онегин не сумел противостоять канонам и предрассудкам дворянской чести. Решительно порывая с обветшавшими моральными нормами дворянско-помещичьей среды, он не может пока заменить их другими, более истинными ценностями. Убийство Ленского на какое-то время делает Онегина еще более одиноким и замкнутым в самом себе «страдающим эгоистом». Снова и снова он призывает себя «на тайный суд» перед лицом убитого друга, подводит безрадостный итог бесплодно прожитой молодости, ведет строгую переоценку ценностей. В душевном смятении,

²⁶ Макогоненко Г. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. М., 1971, с. 151.

тревоге бежит он от всего, что еще недавно составляло содержание его жизни (V, 171). Пушкин кратко, но многозначительно и определенно обозначает глубокий кризис, пережитый Онегиным.

Еще более значительной ступенью в духовном созревании героя явилось его долгое странствие по России. Значение путешествия для раскрытия существа происходившей в нем эволюции вскрывают некоторые черновые наброски отдельных строф. В поисках наиболее точного стиха, характеризующего состояние Онегина перед его странствиями по Руси, поэт перебирает такие варианты: «Быть чем-нибудь давно хотел», «Быть чем-то <...> захотел», «Заняться чем-то захотел», «Переродиться захотел», «Преобразиться захотел»²⁷. Обратим внимание: «переродиться», «преобразиться», а не «возродиться!» По цензурным причинам Пушкин вынужден был отказаться от включения главы с путешествием Онегина в основной корпус романа. Тем значительнее, что в первом же отдельном издании поэт поместил отрывки из нее в приложение²⁸. В этих отрывках рассказывается о «воспитательном» маршруте Онегина. Он как бы воочию знакомился с местами, где творилась и продолжала твориться история страны. Знакомство с жизнью России приобщило Онегина к большому народному миру, с его страданиями, его усилиями освободиться от вековечного гнета нужды, рабства и деспотизма. «Тоска» героя становится теперь выражением не только личной, но и народной неустрашенности и безысходности.

Отчужденность Онегина от света превращается в осознанную позицию человека. Подобная жизненная позиция в условиях той эпохи перерастала в своеобразную политическую оппозицию. Об этом писал Герцен: «Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это, при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции. Правительство косилось на этих праздных людей и было ими недовольно» (VII, 213). И в этот важный момент становления Онегина как личности он вновь встречает Татьяну. Как бы ни истолковывать финал этой встречи, несомненно одно: глубочайшее чувство любви к Татьяне довершает длительный процесс формирования в Онегине человека, личности. Любовь

²⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти т. 1937, т. VI, с. 495.

²⁸ Интересна мысль Макогоненко о том, что это «приложение» стало подлинным концом свободного романа» (Макогоненко Г. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. М., 1971, с. 202).

выводит Онегина из сжимающего его кольца одиночества, отчасти вынужденного, отчасти сознательно избранного. Впервые испытываемое подлинное чувство вызывает в Евгении прилив душевных сил, энергии, жажду познания, деятельности. Он «в молчаливом кабинете» читает, пишет, он «чуть не сделался поэтом». Пушкин подробно перечисляет круг чтения Онегина, показывая широту и разносторонность его интересов — философских, социально-политических, исторических (V, 183). Любовь, в отличие от былой «науки страсти нежной», рождает в герое высокие духовные интересы, приобщает его к человечеству, его насущным заботам и проблемам.

Сопоставляя «начала» и «концы» сложной эволюции героя, мы видим, как из типичного светского аристократа, денди, отдающегося чисто внешней жизни по заранее расписанным ритуалам, рождается человек, живущий напряженной духовной жизнью. И в этом прежде всего историзм романа, который отмечал Белинский, отражение глубинных тенденций в развитии современного Пушкину русского общества, в созревании его самосознания. В свете сделанных здесь наблюдений в какой-то мере теряет свою остроту вопрос: мог или не мог стать Онегин декабристом, поскольку главное в образе Онегина — его духовное рождение как человека. Тип Онегина шире типа декабриста, он отражал более «массовые» тенденции в жизни русского общества, в его самосознании. В Онегине, как и в Татьяне, как в других лучших представителях дворянского общества той поры, социально-классовое, социально ограниченное, все больше вытеснялось народным, общечеловеческим, родовым содержанием личности. В этом Белинский усматривал глубинные основы народности «Евгения Онегина». «Говорят: в светской жизни много дурных сторон, — писал критик. — Правда, а разве в несветской жизни — одни только хорошие стороны? Говорят, свет убивает вдохновение, и Шекспир, и Шиллер не были светскими людьми. Правда; но они не были ни купцами, ни мещанами — они были просто людьми, точно так же, как и Байрон — аристократ и светский человек — своим вдохновением более всего был обязан тому, что он был человеком» (VII, 448). В этом плане представляется интерес черновой набросок к VI главе романа, к сцене поединка Онегина с Ленским, в котором поэт как бы прямо формулирует «сверхзадачу» эволюции своего героя:

В сраженьи смелым быть похвально,
Но кто не смел в наш храбрый век?

Здесь уместно возвратиться к определениям Онегина как «лишнего человека», и в частности к истолкованию этого термина А. И. Герценом. Определяя сущность типа лишнего человека 20—30-х годов, Герцен в 1860 году высказал чрезвычайно глубокое суждение: «Печальный тип *лишнего*, потерянного человека — только потому, что он развился в *человека*, являлся тогда не только в поэмах и романах, но и на улицах и в гостиных, в деревнях и городах» (XIV, 317). Таким образом, для Герцена Онегин — несомненно «лишний человек», и «лишним» он становится именно потому, что в нем формируется личность. Герцен акцентирует в типе «лишнего человека» важнейший для русского общества 20—30-х годов процесс становления личности, углубляющегося самосознания. В новых исторических условиях Герцен развивал и углублял интерпретацию романа и образа его главного героя, принадлежавшую Белинскому, считавшему, что «Евгений Онегин был актом сознания для русского общества».

Но в условиях самодержавно-крепостнической России, особенно в период наступившей после 14 декабря жесточайшей реакции, развивающееся самосознание отдельных личностей, будучи огромным шагом вперед, не переставало быть глубоко трагическим для этих отдельных личностей. Герцен писал о людях этого поколения: «Каждое событие, каждый год подтверждал им страшную истину, что не только правительство против них <...>, но *и народ не с ними* <...>. Почва пропала под ногами; поневоле в таком недоумении приходилось в самом деле идти на службу или сложить руки и сделаться *лишним* <...>. Мы смело говорим, что это одно из самых трагических положений в мире» (XIV, 320).

Сюжетно-композиционная структура и динамика образа Онегина убеждают в том, что для Пушкина одной из главных целей было показать превращение своего героя из «нравственного эмбриона» в человека, не сводимого в его богатом целостном содержании ни к одной из существующих в его среде социальных ролей, низводящих человека до частичного существа. Заканчивая роман, Пушкин оставлял героя на пороге нового этапа жизни, в котором по-прежнему одинаково большую роль будут играть и обстоятельства, и его к ним отношение, его «право выбора» между «легкими» и «трудными» путями. Отразив конкретно-историческую, полную драматизма

переходную эпоху в жизни русского общества 1820—1830 годов, Пушкин вместе с тем запечатлел имеющий непреходящее философско-эстетическое значение процесс формирования личности, нелегкий, подчас тернистый путь духовного рождения человека в человеке.

Г. В. МАКАРОВСКАЯ

БЕЛИНСКИЙ О «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ»

О «Медном Всаднике» Белинский отозвался кратко. В завершающей пушкинский цикл одиннадцатой статье, где он подводил итоги, отсутствовал сколько-нибудь развернутый анализ поэмы. Критик назвал ее «колоссальным произведением» Пушкина и сделал ряд заявок, глубоко прояснявших художественно-философскую природу «Медного Всадника»¹, но краткость его суждений об этой поэме рядом со сравнительно подробным рассмотрением «Тазита» или «Русалки» все же нельзя не заметить. Она не была случайна.

В отзыве о «Медном Всаднике» Белинский пересмотрел, по сути дела, свой отрицательный взгляд на возможность существования эпической поэмы в литературе нового времени. Не найдя единства «исторической» и «человеческой» правды в «Полтаве» и считая, что Пушкин встал на ложный путь возрождения эпопеи, Белинский неожиданно увидел в «Медном Всаднике» произведение, где замечательно соединены известное историческое событие и отдельная человеческая судьба, что и есть образец «высочайшей поэзии». Возрождение эпического начала в поэзии оказалось вполне возможным: в «Медном Всаднике» сквозь призму истории предстала «современная Русь».

Подобного Белинским не было сказано ни об одном произведении 30-х годов. Сделав центром своего труда о Пушкине статьи о «Евгении Онегине», где завершился путь поэта от романтических поэм к реалистическому мировосприятию, Белинский уже не находил развития в позднейшем творчестве Пуш-

¹ «Эта интерпретация легла в основу всех позднейших направлений в понимании историко-философской концепции «Медного Всадника», как бы далеки друг от друга, даже формально противоположны ни были эти направления» (Измайлов Н. В. «Медный Всадник» А. С. Пушкина.— В кн.: А. С. Пушкин. «Медный Всадник». Л., 1978, с. 251).

НАСЛЕДИЕ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ДЕМОКРАТОВ

*и
русская
литература*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1981